

и тоже не маленьких и не малого формата страниц, книгах⁴⁷, дело также более чем сомнительное с психологической стороны...

Очень легко, но обидно делать такие замечания г. Шестову, но слишком он уже зарывается по части своего испытующего сыска. Вообще истинно трагические и искренно вопрошающие ноты в писаниях Шестова каким-то странным образом сливаются с бравурными звуками самого заурядного, «обыденного» (что очень не любит «трагедия») «здорового смысла». Это и дает часто иным страницам Шестова привкус какого-то «гадкого и грубого шика», очень неидущего к его душу раздирающим самоубийственным воплям...

Бердяев кидается за Шестовым, в его бездну отчаяния, но хочет найти утерянное равновесие в процессе падения, удержаться, а быть может, даже полетать в окрылении творчества нового религиозного опыта. Религиозное творчество в известном смысле возможно и нужно, но без объекта творить нельзя, нельзя строиться в пустоте или только в том голом «да», которое уживается в живой трагедии (но в трагедии омертвевшей вымирает и оно). Выронив из рук тот «образ» глубокой простоты, который держала в своих руках бедная самоубийца, не сотворить уже его из ничего, из одинокого «да» трансцендентного значения своей индивидуальности, тогда может в конце концов открыться опять Шестовский провал в обыденность обеднявшей трагедии, хотя и раскрашенную дорогими красками красивой мысли и красивого чувства, а «горы», куда зовете вы творить, эти горы, с открывающимся с них видом «великолепия мира», так и растают в воздухе, как мираж, — испепелятся...

N. N. <Н. А. БЕРДЯЕВ>

Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности

«В области эмпирической, как это ни обидно, — заявляет г. Шестов, автор разбираемой нами книги, — ...есть истины, самые настоящие общеобязательные истины, с которыми не справится никакой бунт. С какою бы радостью заявили мы представителю научной мысли, что огонь вовсе не жжется, что гремучие змеи вовсе не ядовиты... и т. д., если бы он был обязан *доказать* противное. Но, к сожалению, ученый свободен от обязанности доказывать: за него доказывает природа — и как доказывает! — совершенно без помощи логики и морали» (190 ст.) Точно так же, прибавим мы, дело обстоит и с «беспочвенностью». Как бы ни стремились вы стать вне почвы, как бы ни превозносили вы беспочвенность, фактически всегда, наперекор вашему желанию,

окажется, что ваша «беспочвенность» покоится на известных основах, питается соками из известной почвы. Задача исследователя в этом случае состоит отнюдь не в доказательстве невозможности такой беспочвенности, а просто лишь в констатировании и изучении той почвы, на которой распустился такой ненормальный цветок, и в надлежащей оценке ее доброкачественности.

Властителем умов в нашу эпоху, без сомнения, является Кант, так или иначе понятый¹. Он же является тем живительным родником, из которого черпает свои силы и автор рассматриваемой нами книги, слагая хвалебные гимны в честь беспочвенности. Шестов именно положил в основу своих песнопений доктрину Канта в той ее форме, в которой она нынче главным образом господствует на Западе, — в форме телеологического идеализма. Последний одну из своих главных задач видит в ограничении познания на мир явлений и в предоставлении потустороннего трансцендентного мира — вере. При этом он считает все предпосылки, аксиомы, на которых покоится наше познание, не вечными, неизменными истинами, а постулатами, нормами, которым мы должны следовать, словом, он обосновывает науку, научное познание на существовании нормативного сознания, морали в человеке. Перенесите теперь центр тяжести с нормативного сознания, трансцендентального субъекта на индивидуальное сознание, на индивидуума, побуждение к чему содержится уже в самом психологическом исходном пункте телеологического идеализма. Для вас в таком случае нормативное сознание, мораль, вместе со всем покоящимся на ней научным познанием, как связывающая свободу индивидуума, явится, если, быть может, еще необходимою для жизни, то во всяком случае низшей формой проявления индивидуума; высшее же назначение последнего будет заключаться в осуществлении своей полной свободы, в свободном творчестве за пределами этого мира жизни, в парении в области трансцендентного мира, в области веры. Словом, вы окажетесь на точке зрения автора «апофеоза беспочвенности». Последний и рекомендует нам смелым и сильным прыжком перелететь за границу, за перегородку, стоящую перед всяким научным познанием, в область трансцендентного, непознаваемого, и предаться здесь свободному творчеству из ничего, не стесняясь ни логикой, ни наукой, ни моралью. Ибо, по его мнению, как бы все они с их общеобязательными суждениями ни были нужны для практической жизни, вне ее, в области трансцендентного, они стали бы понапрасну стеснять наши движения вперед: приспособленные для выполнения чисто полицейских функций, они стали бы тиранить и насиловать нашу свободную мысль. Что за беда, говорит автор, если вследствие такого отказа от логики, науки и морали вы не добудете общеобязательных суждений. «Это шаг вперед, может быть. Вы разучитесь смотреть вместе со всеми, но научитесь видеть там, где еще никто не видел,

и не размышлять, а заклинать чуждыми для всех словами невиданную красоту и великие силы» (210 ст.). Однако, хотя г. Шестов и усиленно приглашает нас последовать за собой в страну беспочвенности, в область трансцендентного, где все одинаково возможно и невозможно, где мы оказываемся по ту сторону «истины и лжи», «добра и зла», где нам не светит свет логики и науки, словом, в царство тьмы, хотя он патетически восклицает: «да скроется солнце, да здравствует тьма!», он сам пессимистически относится к своей проповеди. С душевным прискорбием он заявляет, что эта страна свободного творчества доступна только для die Schwindelfreie: да и их царство не долговечно. «Солипсизм и культ беспочвенности, — с горечью восклицает он, — недолговечны и, главное, не преемственны. Окончательное и последнее торжество в жизни, как и в старинных комедиях, обеспечено за добром и здравым смыслом. История знала уже много эпох, подобных нашей, и, как известно, превосходно справлялась с ними. За всякого рода неумеренными попытками любознания по пятам следует вырождение, сметающее с земли все слишком требовательное, утонченное. Гениальные люди обыкновенно не имеют потомства или имеют детей идиотов» (стр. 157). Мы вполне разделяем пессимистические предчувствия автора, мы идем лишь еще далее в этом отношении и утверждаем, что само пребывание человека в области «беспочвенности» не может долго продолжаться, оно переходное состояние к другой точке зрения. Творчество из ничего, парение в сферах, где отсутствует всякая почва, покоящиеся на преувеличенной оценке момента индивидуальности, субъективности и на отказе от всякой объективности, в конце концов в человеке должны породить такую пустоту, что наполнение своего духа каким угодно содержанием будет казаться ему освежающим отдыхом. Под влиянием такой тоски по объективности он не задумается спастись под сень самого крайнего авторитета, лишь бы избежать мучений пустоты и отрицательности. История нас учит, что на Западе в аналогичные эпохи Schwindelfreie — протестанты в бегстве от такой тоски по объективности спасались в лоне католической церкви. Наша жизнь также богата случаями, когда крайние индивидуалисты погружались в бездны православной мистики. Словом, одностороннее развитие момента субъективности, выдвинутого в истории философии критицизмом, неизбежно приводит к своей противоположности, к преклонению перед самым неразумным авторитетом, к погружению в самую догматическую мистику. Только правильное и всестороннее понимание критической философии, устранение того, что вызывает переоценку субъективного момента, т. е. ее развитие в духе после кантовской классической философии, в силах помочь нам устранить все болезненные отпрыски, питающиеся от ее ствола.